

Иван Андреевич Есаулов

*профессор кафедры русской классической литературы и словесности,
Литературный институт им. А. М. Горького
(Москва, Тверской бульвар, 25, Российская Федерация)
jesaulov@yandex.ru*

ПУШКИНСКАЯ РЕЧЬ ИВАНА ШМЕЛЕВА: НОВЫЙ КОНТЕКСТ ПОНИМАНИЯ*

Аннотация: Обычно в исследованиях, посвященных Шмелеву, комментируют второй тезис Пушкинской речи — о «тайне Пушкина». Словами о «тайне» и о «разгадывании» этой тайны заканчивается знаменитая речь Достоевского. Ответ Шмелева заключается в том, что «эту тайну мы как будто разгадали». Однако, как правило, игнорируется первый тезис этой речи, в котором присутствует полное согласие Шмелева с Достоевским. В статье автор полемизирует со своими предшественниками, изучавшими публицистику Шмелева, и интерпретирует это согласие Шмелева с Достоевским. Речь идет о «Божией Правде», которая не только лишь индивидуальная особенность Пушкина, но есть столбовая дорога русской литературы как таковой. И вообще — русской культуры как таковой. «Правда русского народа», она же «Божия правда», она же правда, «принятая нами от купели» Православия, — именно это главное в Пушкине, что стало ясно русским изгнанникам. Стало ясно, в частности, потому что на оставленной ими родине была насильственно прервана почти тысячелетняя русская история; этого, разумеется, не мог и помыслить Достоевский.

Ключевые слова: контекст понимания, Шмелев, Пушкин, Достоевский.

С изменением культурного контекста законченный и многократно обсужденный современниками текст может обрести новые смыслы. В этом-то и состоит одна из существеннейших особенностей человеческой культуры. Пушкинская речь Достоевского стала не только культурным событием, она — несомненно — способствовала переосмыслению глубинных смыслов пушкинского творчества, в том числе в начале XX века. Согласно Шмелеву, «Достоевский открыл нам Пушкина»¹, однако это открытие было вполне осознано лишь тогда, когда русские изгнанники оказались вне России.

Так и сама Пушкинская речь Шмелева в нынешнем культурном контексте совершенно неожиданно приобретает действительно новые — и, можно сказать, даже вызывающие смыслы. Точнее, они, конечно, содержались в скрытом виде

в шмелевском тексте, но вполне проступили только сейчас. Надо заметить, сам Шмелев вполне допускал такую возможность, когда писал: «Новый смысл раскрываем в давно знакомом»².

Рассуждая о Пушкинской речи Шмелева, обычно обращают внимание на *второй* тезис этой речи — о «тайне Пушкина». Как известно, по мнению Достоевского,

Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот, мы теперь без него эту тайну разгадываем³.

Именно этими предложениями и заканчивается знаменитая речь Достоевского. Шмелев задается вопросом — «так ли это?». Однако повторяюсь, это *второй* тезис речи Шмелева. И, что немаловажно, полемические по отношению к Достоевскому утверждения Шмелев начинает следующим образом: «Достоевский сказал *еще* "Пушкин умер в полном развитии..."». «Сказал *еще...*»: этим окрывается *вторая* часть шмелевского текста.

Потому что *первый* тезис этой речи — на который как раз менее всего обращают внимание (и, одновременно, *первая* часть текста) — это полное *согласие* Шмелева с Достоевским. Здесь нужно оговориться, что существует несколько вариантов текста Шмелева. В данном случае имеется в виду тот вариант Пушкинской речи, который представлен в Приложении. Первое предложение: «Пушкин, — сказал Достоевский в своей московской речи, — преклонился перед правдой русского народа». Именно этот тезис Шмелев разворачивает — совершенно в духе Достоевского, но с некоторой, как выразился по другому случаю Г. Адамович, «заклинательной волей» [1]:

Что же это за правда? — А вот, самый тот путь, принятый нами от купели, — нести в мир Правду (слово «Правда» у Шмелева с большой буквы. — *И. Е.*), всех и вся примиряющую, *Божиим* святить мир (слово «Божиим» выделено Шмелевым. — *И. Е.*). Эту правду раскрывали Гоголь и Достоевский. На ней строил свою систему Вл. Соловьев.

Совершенно ясно, что эта «Божия правда», по Шмелеву, не есть только лишь индивидуальная особенность Пушкина, но есть столбовая дорога русской литературы. И вообще —

русской культуры как таковой. Однако осознан этот вектор пути России как доминантный для нее, к сожалению, в русском обществе достаточно поздно, для этого осознания потребовался новый контекст восприятия.

Как в другом тексте, в статье «Творчество А. П. Чехова» (1945), заметил Шмелев, русская литература вышла вовсе не из «Шинели» Гоголя, а

вышла из духовной сущности русского народа, из томлений его по «правде Божией» на земле, из его веры в эту правду, из его исканий этой правды, при всей его необузданности и греховности, при всем его метанье «от Мадонны к Содому», по словам Достоевского. *Особенность* русской культуры — в ее истоке (курсив Шмелева. — *И. Е.*). Русская культура — «запечатленная» печатью тысячелетий: крещением в православие. Этим и определилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения⁴.

Казалось бы, сказано так ясно и недвусмысленно, что невозможно этот смысл игнорировать. Однако наше литературоведение в недавние времена, как и в целом гуманитарная наука, исхитрилась «не замечать» слишком многого. Поэтому неудивительно, что и смысловое ядро речи Шмелева как бы не замечается вовсе.

Итак, «правда русского народа», она же «Божия правда», она же правда, «принятая нами от купели» Православия, — именно это главное в Пушкине, что стало ясно русским изгнанникам. Стало ясно, в частности, потому что на их родине была насильственно прервана почти тысячелетняя русская история; этого, разумеется, не мог и помыслить Достоевский, просто оттого, что он жил в православной России. Однако для русских беженцев, как, впрочем, и для многих подневольных русских людей, именно это стало совершенной очевидностью.

Парадокс здесь в разном, даже противоположном, отношении к слову «родина». В отличие от эмиграции третьей волны, для русских беженцев времен изгнания как раз именно слово «родина» было ключевым концептом в их осмыслении духовной сущности России. И, разумеется, этот концепт имел безусловно позитивные коннотации.

Вслушаемся в музыку речи Шмелева, обращая внимание на корневое «.. род...»: читая Пушкина,

.. мы у себя, в России, мы — снова мы. Он берет нас очарованием прирожденной правды, которая называется родное. Это наша родимая стихия — душевность и простота, ласка родного слова.

Суггестивное сгущение близкородственных слов задает особый эмоциональный накал для сочувственно настроенного слушателя и читателя шмелевского текста. Порой можно констатировать некоторую языковую игру с тем же корневым ядром:

Няня — родное, нас воспитавшее... И слышится нам, что няня — не только Арина Родионовна, это — родимая стихия, родник духовный...

Именно потому, что так важен концепт родины, ошибочной является трактовка В. А. Кошелевым позиции Шмелева таким образом, будто «Шмелев (в отличие... от множества эмигрантов) сочувственно обращается к России советской — очень интересно толкуя происходящие там процессы» [2]. Левое крыло в эмигрантском кругу действительно сочувственно, а иные и очень сочувственно — по некоторым причинам — относились к так называемой «России советской», но не Шмелев, во всяком случае. Само кошелевское словосочетание — «Россия советская» — естественно для Кошелева, а также для этих левых кругов эмиграции, но не для Шмелева. Из того, что «там», как выражается Шмелев, — т. е. для него в Совдепии, а отнюдь не в какой-то фантастической «России советской» — вынуждены восстанавливать Пушкина «в правах», совершенно не следует, что Шмелев «сочувственно обращается» к тем, для кого, согласно Шмелеву же, «слово родина не звучит никак». А что до надежды на чудесное освобождение русского народа от тех, для кого «слово родина не звучит никак»⁵, то это надежды не только Шмелева. Мягкий и совершенно неимпульсивный, в отличие от Шмелева, Б. Зайцев как само собой разумеющееся отмечал очевидное для совдеповской реальности и в 1951 году — «Даже имени *Россия* больше нет»⁶[8] . И слово «Россия» было выделено при этом Б. Зайцевым курсивом...

Между прочим, абсолютную правоту в этом вопросе русских беженцев отлично доказывают некоторые советские авторы, например Л. Я. Гинзбург. Позволю себе напомнить, что в дневнике середины 20-х гг. XX века Гинзбург записала: «Внутри Союза Украина, Грузия фигурируют как Украина, Грузия, но Россия — слово не одобренное цензурой...» [3]. Вл. Паперный в книге «Культура Два» констатирует, что и «в 1934 году слова "Россия" и "русские" все еще несли на себе груз отрицательных значений» [4]. Для кого же эти слова несли «груз отрицательных значений»? Для советского государства, конечно, и для культурной элиты этого государства. Как вспоминает Солженицын уже в 2002 году:

...да и даже само слово «русский», сказать «я русский» — звучало контрреволюционным вызовом, это-то я хорошо помню и по себе, по школьному своему детству..⁷

Да и в наше время очень трудно себе представить публикацию Пушкинской речи Шмелева (в любом из ее вариантов) в какой-нибудь хрестоматии для средней школы. Ведь Шмелев позволяет себе высказывания очень и очень непривычные для выросшей из отталкивания от всего русского советско-постсоветской элиты. Например, что это еще за «правда русского народа»? Как весьма откровенно заметил В. Б. Шкловский на I Съезде советских писателей, появившись там Достоевский, «мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника...» [5,154-155].

Итак, новые смыслы речи Шмелева могут быть выявлены, если мы поставим эту речь в новый контекст понимания, когда за внешним различием его слова и слова Достоевского о Пушкине мы увидим их внутреннее духовное родство, которое, впрочем, проступает даже и структурно. Есть и другие аргументы в пользу этого родства.

Я использую при этом понятие «культурного бессознательного» [6]. В данном случае оно весьма уместно. Именно Достоевский — задолго до Фрейда — писал о значении бессознательного в художественном творчестве, но для Достоевского актуальна была христианская основа бессознательного. Напомню лишь:

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать *бессознательно* <...> Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры <...> но Христа он знает и *носит в сердце своем искони*. Может быть, единственная любовь народа нашего есть Христос <...> Повторю: *можно очень много знать бессознательно**.

И еще:

Я утверждаю, что народ наш просветился уже давно, *приняв в свою суть Христа* и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает <...> но это возражение пустое: всё знает, всё то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны... Знает тоже он наизусть многие из житий святых, пересказывает и слушает их с умилением⁹.

Именно этот момент — «культурное бессознательное» — неоднократно акцентирует Шмелев в своей Пушкинской речи. Так, называя нашу «миссию» — «пронизать мир Божией Правдой», — он замечает, что это «*инстинкт* нашего бытия». Он утверждает, что

...мы любим Пушкина — и многие — бессознательно. И, может быть, лучше что бессознательно, зато непосредственно и крепко. Не потому ли, что в нем все отвечает какому-то властному в нас *инстинкту*⁷.

Подчеркнем, что этот «инстинкт», по Шмелеву, — «пронизать мир Божией Правдой». Имеет ли это отношение к творчеству Пушкина? С точки зрения не только Шмелева, но и, например, И. А. Ильина, вне всякого сомнения. Более того, это «бессознательное» или «инстинкт» в художественном творчестве выше и глубже *ratio*. Что, к сожалению, не всегда понимают ревнивые не по разуму сторонники т. н. «православной идеологии». Рассуждая о «Путях небесных», Иван Ильин писал:

...это первый, так сказать, сознательно-православный роман в русской литературе. *Бессознательно* — было православно всё лучшее, что создала русская литература¹⁰.

Однако чтобы научно выявить это «культурное бессознательное», необходима, в частности, особая аксиологическая

установка исследователя, созвучная доминантным ценностям того русского мира, который и воссоздают в своем творчестве Пушкин, Достоевский, Шмелев.

На этот раз я проиллюстрирую необходимость этой *позитивной* аксиологической установки от противного, вновь полемически обращаясь к некоторым положениям статьи В. А. Кошелева. Исследователь совершенно справедливо выделяет некоторые аксиомы Шмелева (относя их, правда, при этом к «пушкинской мифологии»). Тем более, в том варианте речи Шмелева, который и анализировал исследователь, сам писатель употребил слово «аксиомы» (применительно к математике). О бесспорности Пушкина для русской души. О «прирожденности» Пушкина (замечу от себя, что в этом пункте Шмелев проципательно указывает на *пасхальность* для русского сознания пушкинского творчества: «читаем его и воскресаем»¹¹, писал Шмелев). О том, что язык Пушкина — это в той же степени и «проба духовных сил народа», «безмерность нашей духовной мощи». Кошелев несколько иронично утверждает, будто «эти аксиомы — особенно сильные тем обстоятельством, что они именно аксиомы и доказательств не требуют...» [2,16-17].

Хотелось бы добавить к этому, что любая наука строится на тех или иных *аксиомах*, как на фундаменте. Даже математика. Уж не говоря о гуманитарных науках. Да, у русских изгнанников были такие аксиомы. Но возможны и другие. Проблема здесь в том, что аксиомы едва ли не большинства нынешних влиятельных филологических изданий в Российской Федерации прямо противоположны шмелевским. Они столь же противоположны и аксиомам Достоевского, некоторые из которых я процитировал выше. Если использовать слово «мифология», можно сказать, что логика многих постсоветских изданий — это попросту логика «левого мифа» [6, 84-114]. *Ментальная* несовместимость (и в данном случае можно говорить о несовместимости «культурного бессознательного» различных типов) неизбежно приводит и к противоположным по смыслу результатам в любой самой что ни на есть конкретной литературоведческой интерпретации, когда то или иное явление оценивается диаметрально противоположным образом.

Историческая Россия — при всем ее несовершенстве — базировалась на одних аксиомах, а вот СССР — на совершенно других. Эта культурная противоположность ныне проступает все яснее и яснее. Чтобы дополнительно разъяснить свою позицию, я позволю себе процитировать слова А. Ф. Лосева из «Диалектики мифа» (раз уж Кошелев писал о «пушкинской мифологии»):

Да ну будет вам блудить языком <...> Ну, а что же в природе *объективно* (курсив А. Ф. Лосева. — *И. £.*)? Материя, движения, сила, атомы и прочее? Но почему же? Понятия о материи, движении, силе и атомах также меняются, как все прочие наши субъективные построения. В разные эпохи они совершенно различны. Так почему же тут вы не говорите о субъективизме, а когда я заговорил о том, что природа — весела, грустна, печальна, величественна и т. д., вы вдруг обвиняете меня в субъективизме? Вот тут-то и получается, что под всяким таким «объективизмом» кроется *собственное вероучение*, точнее, просто метафизические капризы и всякого рода *симпатии и антипатии*. Кто во что влюблен, тот и превозносит объективность соответствующего предмета своей любви. Вы влюблены в пустую и черную дыру, называете ее «мирозданием», изучаете в своих университетах и идолопоклонствуете перед нею в своих капищах <...> А я люблю небушко, голубое-голубое, синее-синее, глубокое-глубокое, родное-родное, ибо и сама мудрость, София, Премудрость Божия, — голубая-голубая, глубокая-глубокая, родная-родная. Ну да что там говорить... [7,165-166].

Мы хорошо помним, что ритуальные поношения «царской» России долгие десятилетия служили своего рода «пропуском» в мир официального советского литературоведения (и в целом гуманитарных наук). Да и в наше время историческая Россия, по-видимому, так и не получила полную «реабилитацию».

С сожалением приходится констатировать, что некоторые современные представители Русской Православной Церкви те ценности, которые утверждает Шмелев и в своих художественных произведениях, и в Пушкинской речи, похоже, не опознают как близкие себе. Прежде всего, я имею в виду протоиерея Георгия Митрофанова, который объявил, что «сейчас», мол, «фальшиво звучит Иван Шмелев», «потому что

он писал о той жизни, которой никогда не было и апеллируя к которой он, в общем-то, занимался анестезией своих эмигрантских комплексов». С точки зрения Митрофанова, «Шмелев занимался мифотворчеством, для христианина всегда не-полезным». И теперь вот «как историк» о. Георгий это понял¹².

Сама стилистика («эмигрантские комплексы» и прочее) невольно напоминает не столь давние времена. Например, в соответствующем томе Краткой литературной энциклопедии (1975 год) мы можем прочесть о писателе следующее: «До революции писатель остросоциальной проблематики, Шмелев в эмиграции стал лишь бытописателем русского "благочестия" (в советских кавычках, разумеется. — *И. ф.*), певцом старого Замоскворечья» [8]. Однако следует заметить, что автор (недавно трагически погибший О. Н. Михайлов) все-таки удержался и не написал, как это сделал о. Георгий, об «эмигрантских комплексах». .. Как и о том, что на самом-то деле нечего было и воспевать-то в этом «старом Замоскворечье» — тоже не написал.

Согласно же новым установкам, с которыми я ознакомился через о. Георгия, православного мира исторической России никогда не было. Книги Шмелева — это, оказывается, «фантазерство» о православной жизни в нашей стране. «Фантазерство», иллюзия, на самом же деле «были только отдельные люди». Хотя о. Георгий кается в своей прежней «утопии», утверждая: «*сегодня* мне хватает здравого смысла признать это», — однако духу времени мира сего этот «здравый смысл» странным образом более чем отвечает... Также этот «здравый смысл» вполне отвечает и представлениям о негодной исторической России. Как раз таким, о которых Шмелев писал в статьях «Мученица Татьяна» и «Слово о Татьяне».

Кто же прав? О. Георгий, который заявляет, что он «как историк» свидетельствует о «фальшивости» и «мифотворчестве» Шмелева? Или все-таки И. А. Ильин, который по случаю второго издания шмелевского «Богомолья» писал:

Мы, знающие Россию, <...> свидетельствуем о *правде*, заключенной в этом творении, подтверждаем и эту естественную человеческую доброту, и эту нестесненность личных чувств и мыслей, смирение сердец, жажду чистоты, искренность молитв, веяние благодати. А всем тем, кто не имел возможности приобщиться

к этому в детстве, *кто не верит нашей былой свободе*, кто хотел бы узнать, как это люди жили, мечтали и молились на Руси, *столетие за столетием*, — мы от души советуем добавить себе эту книгу мастерского художества, прочесть ее и удостовериться, что отныне сердце начинает «петь»... Русь была *такою*. И слава Богу, что она такой была [9, 104-105].

В зависимости от аксиологических установок читателя само понимание шмелевского текста может быть тем или другим. Созвучным тому состоянию, как это сформулировал Ильин, — «сердце начинает "петь"» или вполне ему чуждым.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст И. С. Шмелева републикуется по изданию: Возрождение: Литературно-политические тетради. Париж. Тетрадь шестьдесят вторая. Февраль 1957. С. 6-14.

Курсивом передаем разрядку И. С. Шмелева, полужирный шрифт авторский. Однако мы публикуем текст Шмелева, за некоторыми значимыми исключениями, в целом в современной — советской — орфографии, тогда как в «Возрождении» представлена русская орфография. Полагаем, что тексты И. С. Шмелева, И. А. Бунина, И. А. Ильина, как и тексты русских классиков XVIII—XIX вв., должны воспроизводиться в научных изданиях в авторской орфографии и пунктуации. Дальнейшее игнорирование существенных отличий канонических текстов от их вариантов, подвергшихся редакторской правке в советских изданиях, тормозит научное изучение и адекватное понимание русской литературы.

ЗАВЕТНАЯ ВСТРЕЧА

Из речи И. С. Шмелева

в столетнюю годовщину

смерти Пушкина

Пушкин, — сказал Достоевский в московской речи на торжествах открытия памятника великому поэту, — «преклонился перед правдой русского народа».

Что же это за правда? — А вот, самый тот путь, принятый нами от купели, — нести в мир Правду, всех и вся примиряющую, Божиим освятить мир. Эту правду раскрывали Гоголь и Достоевский. На ней строил свою систему Вл. Соловьев.

Эту правду Пушкин носил в себе... Она зрела в его творениях, шептала ему во вдохновенности, — родная его Муза! — и он проникался ею, «велению Божию послушный». Она зывала в нем в ту «болдинскую» осень 1830 г. — осень великого томления. И его страстный призыв в «Заклинании» — «ко мне, мой друг, сюда, сюда!...» — не страсти зов, а страстного томления, искания гармонии, опоры, которые уходили от него. «Скучный шепот» тревожит его в бессоннице, рождает беспокойство духа, подавленного «жизни мышьей беготней». .. — как бы чувствуется ему касание «иного мира».

Эта миссия наша — пронизать мир Божьей Правдой — инстинкт нашего бытия. Ныне мы на распутьи, и вот, дается нам укрепление — «заветная встреча» с выразителем нашей сущности: мы поминаем Пушкина, поминаем великую утрату...

Вспоминаем слова Гоголя — «Пушкин — явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа». По слову Гоголя, «в Пушкине как бы показано, каким мог бы стать русский человек через двести лет».

Своим поражающим духовным ростом Пушкин как бы знаменует грядущий рост русского человека: плуафей, жадный к культуре европейской, бунтарь, он зреет, мудреет, углубляется, приникает к родной стихии, проникается творчеством народа, тянется к самобытности, патриот, государственный, черпает от Святого Слова, глубоко пускает корни в родную почву... Дуэль и — смерть. Пушкин не весь раскрылся. Гоголь и Достоевский скрещивают на нем видения свои, как бы указуя: вот центр, глядите и познаете».

Достоевский сказал еще: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот, мы теперь без него эту тайну разгадываем». Так ли это? «Тайны» Пушкин не унес с собой: он ее нам оставил, собой оставил. И мы разгадываем ее, раскрывая и познавая его наследство. И эта, поминаемая ныне полуторавековая с ним «встреча» — не знаменательна ли?

Да *кто же, что же* такое — Пушкин? Пушкин — все наше бытие, «самостоянье» наше. Пушкин — Россия наша, от первого

глагола Летописца — до последнего слова прерванной Истории Российской. Пушкин, это — неразрешенный еще вопрос, им же поставленный

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Почему все мы любим Пушкина, и многие — бессознательно? И это, может быть, лучше, что бессознательно, зато непосредственно и крепко. Не потому ли, что в нем все отвечает какому-то властному в нас инстинкту? От него идет как бы ток, как от чего-то очень огромного. В нем включено как-будто все — для всех нас: веет от него стихией, которая проникает нас и живит.

Пушкин — не гениальная случайность литературы русской, а «явление чрезвычайное», — сказал Гоголь, — «пророческое!» — добавил Достоевский. Он как бы предуказан нам в судьбе нашей, — показать, на какие высоты может подниматься русский гений. Он — знамение нашей духовной сущности.

«Тайна» Пушкина — для нас, ныне, — в очистительной встрече нашего духа с ним, в очищающем пламени его, которое он «вдвигает» в отверстую нашу грудь:

И он мне грудь разсек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Пушкин — скрижаль нашего Завета: в нем все, чтобы *быть* нам, и быть достойно. Пушкин для нас — безспорность, прирожденность. Он для нас воздух и чувство Родины с детских лет. Никто из творцов родного слова, кого учили мы в хрестоматиях, так не прирос нам к сердцу, никто так не стал *своим*, как Пушкин. Поньше веет он в нас воздухом детских лет. Читаем его — и слышим, как пахнет снегом, чувствуем занемевший с мороза пальчик, видим «бразды пушистые», «на стеклах легкие узоры», «деревья в зимнем серебре», «мороз и солнце... день чудесный!» — слышим первую зиму нашу. Вбираем в себя... — и сколько отображений, отзвуков

Встает купец, идет разнощик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный...
Открыты ставни. Трубный дым
Столбом восходит голубым.
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

Один этот «васисдас» ско-лько за собой вытянет, всколых-нет сладко в сердце нашем!

Видим эти картины, и вот, чудо преображения: мы у себя в России... мы — снова мы.

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар крестами золотыми
Горят старинные главы,
Ах, братцы!..

И мы вздыхаем, захвачены все — *одним*. Вот она, «тайна» Пушкина!

Он *берет* нас очарованием простоты и правды, той при-рожденной правды, которая называется — *родное*. Это наша родимая стихия — душевность и простота, ласка родного слова. Пушкин не сочинитель, не выдумщик, не изыскатель слова, а такое же естество, как слаженная народом песня, сложенная народом сказка. Пушкин — та живая тростинка — Иванушка, которую слышит сестрица-Аленушка сказки нашей. Ни у кого не найдете вы такого живого слова, такого чудо-слова, которое уже не слово, а русская ткань живая, таящая дух животворящий.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня —

Няня... — *родное*, нас воспитавшее, *наша* няня. Она вырастает в знамение любви, простоты и правды. Единственной ей — высказал Пушкин такую ласку, какой не найдешь больше у него. И слышится нам, что няня — не только Арина Родионовна: это родимая стихия, родник духовный *живой* язык.

Пушкиным можем воскрешать — и «бури завывание», «сиянье розовых снегов и мглу крещенских вечеров». Видеть всю русскую природу:

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...

Найдем ли в мировой литературе более совершенный образ? Гениальный скульптор по этим восьми словам может лепить «Пробуждение Весны». И мы *видим*, как вылепит, если только найдется в мире скульптор, *равный*.

Это мы встречаем «утро года», мы просыпаемся и видим — родное наше видим. С Пушкиным — мы в своем. Вот она, «тайна» Пушкина.

Пушкиным познаем мы тайну нашего языка. Жизнь заставила нас слушать чужой язык, и мы познали до глубины, что такой — родной язык, наш язык. Пушкиным мы познали, как мы духовно сильны, как мы — всечеловечны: нет ни единого чувства в мире, чего не вняла бы русская душа, не облекла бы в родное слово.

Пушкин нам дал язык непостижимой силы, выковал из родной стихии, из сокровищ души народа... дал в языке откровение: что за несметное богатство! Родная душа-стихия... Знаем, как широка она, певуча, нежна и всеохватна... как глубока она, как — всемирна! Живя в народах, мы постигаем ныне, как много доступно нам, как многое в нас другим невятно, невоплотимо в чужих языках.

Все мое, сказала злато,
Все мое, сказал булат.
Все куплю, сказала злато;
Все возьму, сказал булат.

Только мы слышим этот удар, кованность — силу чувствуем. Чужие — *так* не почувствуют.

Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой...

Предельная сжатость, ясность, сквозистость, легкость и чистота — вся пчела. Восемь слов... но, для нас, — *все*, до луговых просторов, до медового запаха цветов, — солнце... и наша даль. Слово претворено в *живое*. Это словесное волшебство, эта легкость творческого дыхания — сродни правде души народной, розлитой в русской песне, нигде неповторимой. Вспомните... —

Ивушка-ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, невесела стоишь?
Иль тебя, ивушка, солнышком печет,
Солнышко печет... частым дождичком сечет?..

И посравните:

Только что на проталинках весенних
Показались ранние цветочки,
Как из царства воскового,
Из душистой келейки медовой,
Вылетает первая пчелка.
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне разведать:
Скоро ль будет гостя дорогая,
Скоро ли луга зазеленеют,
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста?..

Вот откуда — знаменитые «клейкие листочки» Достоевского... из пушкинской стихии, — из народной. Или... —

Как весенней теплою порою,
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу дремучего -
Чернобурая выходила медведиха...

Вот она, *наша* ласковость. *Этим* преклонился Пушкин перед правдой народа русского, как высказал в своей речи Достоевский.

Язык — проба духовных сил народа. У народа духовно бедного — язык бедный. Мерило нашего языка — Пушкин. Он дает нам весь мир мощной стихией языка. Восток и Запад... Это его «игра» и любованье силой. Сердце его — *родное*.

И потому наша с ним «встреча», вне родины, знаменательна. Мы как бы слышим: «помни свое, какой ты стихии, какого корня: эта стихия дала нам Пушкина! познай свое место в мире, и головы не клони!»

Пушкин воспел Россию. Никто не воспел ее так, как он. Кротка она в нас и величава.

Воспел Россию имперскую, великоленную. Мы ее держим в сердце. И если иные скажут — «где она, Россия... *еаиiaV.*» — нас не смутит.

Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Сын России, ее Певец, он возвышал свой голос народной гордости в трудные дни ее. Он ответил клеветникам России достойным словом, не убоился клейма — «раб царский». «Витиям» — политиканам, поливавшим Россию грязью, он ответил имперски-гордо:

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?

И дальше:

Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы...

И -

.....в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

За полгода до смерти Пушкин творит «Молитву» — покаяния: «Отцы пустынноики и жены непорочны...». Предчувствия... Православные люди русские *слышат* эти предчувствия, *готовятся*. И вот, — подведение итога, самоутверждение, отдавание творческого дыхания своего — Богу:

Велению Божию, о, муза, будь послушна...

Тут — вера. Тут и определение искусства, как служение Богу. Этим подчинением велению Божию Пушкин скрепляет себя навеки с недрами, которые его родили. Здесь Пушкин утверждает правду народную, заветное назначение его — «служить добру»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

И — далее...

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

Да, он *знает* крепко, что нерушимо спаян с родным народом, и знает — *чем* — всем естеством народным, чем жив народ. Это — завещание, *завет*: «Я, Александр Пушкин, велению Божию послушный, навеки с вами, со всею великой Русью, — *ваш*».

Воистину, он *наш*, навеки!

Томление по мирам иным, розлитое в сказаньях, в стихах духовных, томление земным, тяга к «неведомому Граду», наши провалы в грех и устремленность к *небу*, извечная наша неприкаянность и порыв, именуемое в мире «ам сляв» — это и в Пушкине. Скука земным, усталость от земного... — «давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю...» порывы — «в соседство Бога»... Вот оно, сияющее, заоблачное:

Высоко над семью гор,
Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.
 Твой монастырь за облаками,
 Как в небе реюший ковчег,
 Парит, чуть видный над горами.
 Далекий, возделенный брег!
 Туда б, сказав прости ущелью,
 Подняться к вольной вышине;
 Туда б, в заоблачную келью,
 В соседство Бога скрыться мне!..

Что это? Сущность живая наша. Как же ему не верить! Он наш Пророк и наше откровение — Завет.

Есть у народов книги вдохновенных, гениев, пророков. В години поражений и падений народы черпают в них силу. У нас — он Пушкин. Если бы мы спросили свое сердце — чего хотим? — оно сказала бы — «самостоянья своего!» *Самостоянье* — Пушкина слово:

Два чувства дивно близки нам —
 В них обретает сердце пищу —
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам.
 На них основано от века
 По воле Бога самого
 Самостоянье человека, —
 Залог величия его.
 Животворящая святыня!
 Земля была б без них мертва;
 Без них наш тесный мир — пустыня,
 Душа — алтарь без божества.

Уразумеем ли нашего Пророка? Сколько претерпев, нельзя оставаться прежними: надо склониться перед *святыней*, единым сердцем. Страдания умудряют, обновляют. Мы должны раскрыть, наконец, *тайну* Пушкина. И мы раскрываем ее: он сам ее нам открыл — собой. Вот, оно, «явление чрезвычайное», «*пророческое*!» — в Пушкине раскрывается Россия. Томимы духовной жаждой, мы влачили в пустыне

мрачной, и вот — Серафим, «на перепутьи нам явился»!
И мы с восторгом примем «уголь, пылающий огнем». И тогда,
как *откровение*, мы прочтем:

А ты, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!

Да, много. Опаленные животворной встречей, очищен-
ные страданьем, теперь мы внимаем чутко... теперь мы стре-
мимся к *ней*... ловим неизъяснимый образ —

.....тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем несвязанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья...

Теперь — новый смысл раскрываем в давно знакомом:

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?..

«Милый идеал» разгадан нашим сердцем, узрен «сквозь
магический кристалл Безсмертного.

Перстами, легкими как сон,
— коснулся *он* слуха нашего... — и слышим:

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни.

Примечания

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ), проект 11-04-00496 а.

¹ Шмелев И. С. Мученица Татьяна // Шмелев И. С. Душа Родины: Сбор-
ник статей от 1924-1950 гг. Париж: Издание Русского научного ин-
ститута при Русской Академической группе в Париже, 1967. С. 252.

² Пушкинская речь Шмелева цитируется по ее тексту в следующем
издании: Возрождение. 1957. № 62. С. 6-14. Она же размещена

в Приложении. В статье курсив в этом и других текстах, кроме специально оговоренных случаев, всюду мой.

Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 149.

Шмелев И. С. Творчество А. П. Чехова // Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. М.: Русская книга, 1999. Т. 7 (доп.). С. 543.

Шмелев И. Пушкин: 1837-1937 (Речь, прочитанная на торжественном собрании в Варшаве 11 февраля 1937 года) // «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин. Статьи. Очерки. Речи. Рыбинск: Русский мир, 1998. С. 176.

Зайцев Б. В. Пути. Париж, 1951. 211 с.

Солженицын А. И. Двести лет вместе. М., 2002. Т. 2. С. 274.

Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 37-38.

Там же. Т. 26. С. 150-151.

⁰ *Ильин И. А.* Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1935-1946). М., 2000. С. 387.

¹ *Шмелев И.* Пушкин: 1837-1937 (Речь, прочитанная на торжественном собрании в Варшаве 11 февраля 1937 года). С. 176.

² Цит. по электронному источнику:

<http://www.nsad.ru/index.php?issue=96§ion=2&article=2564>

Список литературы

1. *Адамович Г.* Шмелев // Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 65-77.
2. *Кошелев В. А.* «.. вот тайна, которую мы как будто разгадали»: «Пушкинская речь» И. С. Шмелева 1937 года // И. С. Шмелев и литературный процесс XX-XXI вв.: Итоги, проблемы, перспективы. X Крымские Международные Шмелевские чтения. М., 2004. С. 11-18.
3. *Гинзбург Л.* Записи 20-30 гг. // Новый мир. 1992. № 6. С. 144-186.
4. *Паперный В. Р.* Культура Два. М., 1996. 383 с.
5. *Шкловский В.* Речь // Первый Всесоюзный Съезд советских писателей: Стенографический отчет. М.: Художественная литература, 1934. С. 154-155.
6. *Есаулов И. А.* Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 559 с.
7. *Лосев А. Ф.* Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 559 с.
8. *Михайлов О. Н.* Шмелев Иван Сергеевич // Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Стлб. 750.
9. *Ильин И. А.* Русские писатели, литература и искусство. Вашингтон, 1973. 286 с.

Ivan Andreevich Esaulov*Ph. D., Professor of Gorky Literary Institute
(Tverskoy bulvar, 25, Moscow, Russian Federation)*jesaulov@yandex.ru

PUSHKIN SPEECH OF IVAN SHMELEV: NEW CONTEXT OF UNDERSTANDING

Abstract: In the research on Shmelev, the second thesis in Pushkin speech is usually commented on — the one about "Pushkin's mystery". The famous Dostoevsky speech is concluded with words about "a mystery" and "revealing" this mystery. Shmelev's reply is that "we seem to have revealed this mystery". However, the first thesis of this speech — containing a complete agreement between Shmelev and Dostoevsky — is usually ignored. In this paper, the author polemizes with his predecessors who studied Shmelev's publicism and interprets this agreement between Shmelev and Dostoevsky. "The Truth of God" is brought up, which is not only an individual peculiarity of Pushkin but the high road of Russian literature in general. Applicable as well to Russian culture in general. "The Truth of Russian people", also known as "the Truth of God", is the truth "accepted by us from the font" of Orthodoxy — and this is the central idea in Pushkin, which became clear to Russian exiles. In particular, it became clear because an almost thousand-year-long Russian history was forcibly interrupted in the homeland they left; this is something that, naturally, Dostoevsky could not even think of.

Keywords: contexts of understanding; Shmelev, Pushkin, Dostoevsky.

References

1. Adamovich G. Shmelev. *Adamovich G. Loneliness and Freedom [Adamovich G. Odinochestvo i svoboda]*. New York, 1955, pp. 65—77.
2. Koshelev V. A. ...That's a mystery that we seem to have solved : " Pushkin speech "Shmelev 1937 year [".. .vot tajna, kotoruju my kakbudto razgadali": "Pushkinskaja rech" I. S. Shmeleva 1937 goda]. *Shmelev and literary process of the 20th—21st centuries: Results, problems and prospects. X Crimean Chmielewski International Reading [I. S. Shmelev i literaturnyj process XX—XXI vv: Itogi, problemy, perspektivy. X Krymskie Mezhdunarodnye Shmelevskie chtenija]*. Moscow, 2004, pp. 11—18.
3. Ginzburg L. Entries 20—30 years [Zapisi 20—30 gg.]. *Novyj mir*, 1992, no. 6, pp. 144—186.
4. Papernyj VI. Culture Two [Kul'tura Dva]. Moscow, 1996. 383 p.
5. Shklovskij V. Speech [Rech']. *First All-Union Congress of Soviet Writers: Transcript [Pervyj Vsesojuznyj S'ezd sovetskih pisatelej: Stenograficheskij otechet]*. Moscow, Hudozhestvennaja literature publ, 1934, pp. 154—155.

6. Esaulov I. A. Easter Russian literature [Pashalnost' russkoj slovesnosti]. Moscow, Krug publ, 2004. 559 p.
7. Losev A. R Dialectics of Myth [Dialektika mifa]. Moscow, Mysl' publ, 2001. 559 p.
8. Mihajlov O. N. Shmelev Ivan Sergeevich. *Short Literary Encyclopedia [Kratkaja literaturnaja jenciklopedija]*. Moscow, 1975, vol. 8, stlb. 750.
9. Il'in I. A. Russian writers, literature and art [Russkie pisateli, literatura i hudozhestvo]. Washington, 1973. 286 p.